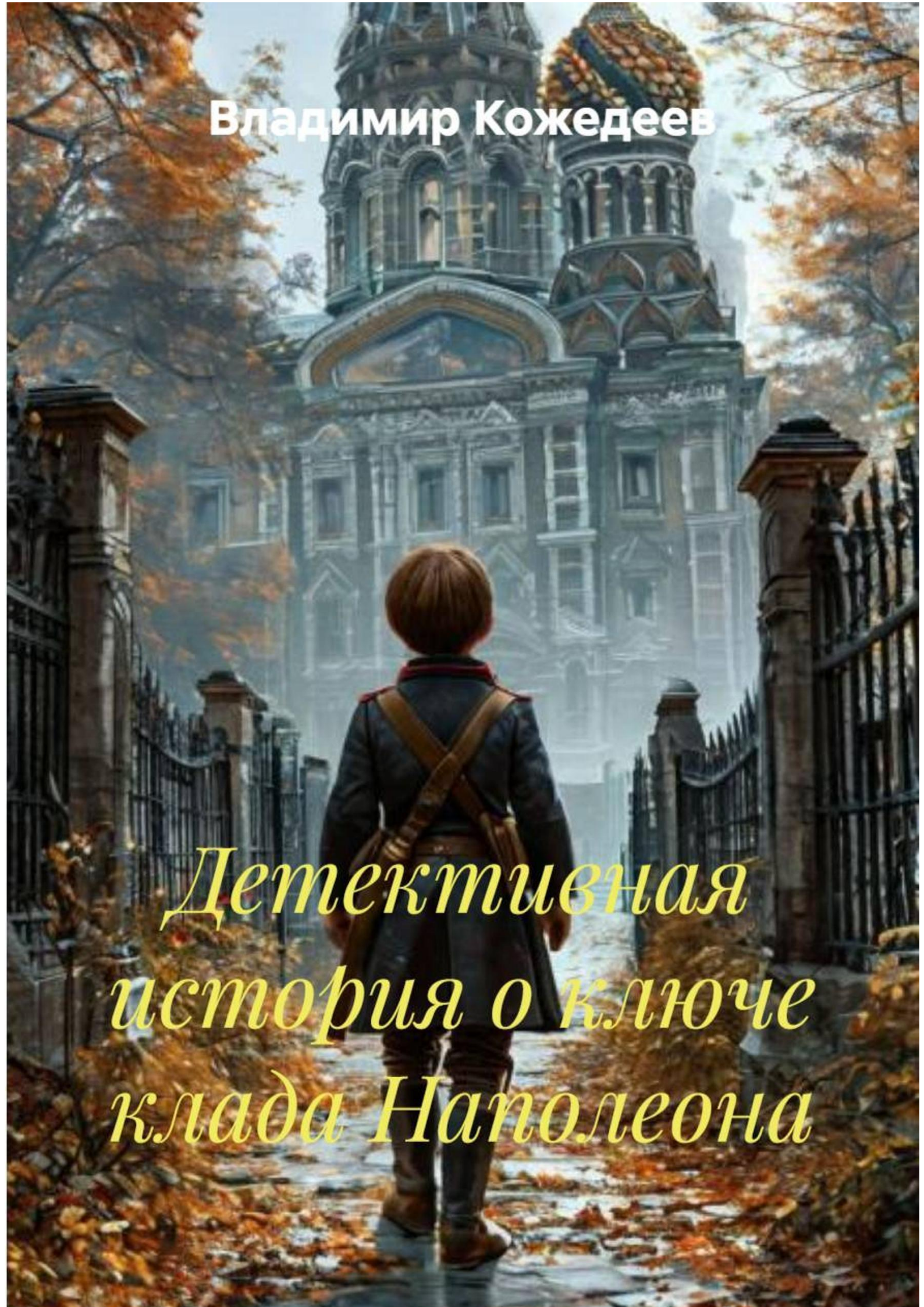


The background of the cover is a detailed illustration. It shows a young boy with a round head, seen from behind, walking away from the viewer down a path. The path is covered with fallen autumn leaves and is flanked by a black wrought-iron fence with stone pillars. In the distance, a large, ornate cathedral with multiple onion domes and arched windows stands under a hazy, overcast sky. The overall color palette is muted, with a lot of greys, browns, and soft blues, giving it a historical and atmospheric feel.

Владимир Кожедеев

*Детективная
история о ключе
клада Наполеона*

Исторические детективы

Владимир Кожедеев

**Детективная история о
ключе клада Наполеона**

«Автор»

2026

Кожедеев В.

Детективная история о ключе клада Наполеона / В. Кожедеев — «Автор», 2026 — (Исторические детективы)

"Детективная история о ключе клада Наполеона" Эта история началась в Москве, конец XIX века. После таинственного пожара, уничтожившего старинный дворянский особняк, десятилетний Алёша Иванов остаётся сиротой. У него нет ничего, кроме нательного белья и серебряного амулета с фамильными вензелями — последней памяти о погибших родителях. Обречённый на гибель в холодных улицах, мальчик попадает в подземный мир — катакомбы под Москвой, где правит Лом, легендарный медвежатник, создавший под землёй настоящее воровское царство. Здесь, среди беспризорников и беглых каторжников, Алёше предстоит пройти суровую школу выживания. Его наставником становится Чума — конопатый мальчишка с цепкими глазами и верным сердцем. Здесь он узнаёт цену дружбе и предательству, учится открывать замки и читать человеческие души. И здесь он встречает Лизу — такую же потерянную, как он сам, чья любовь станет для него светом в кромешной тьме. Но огонь, вспыхнул не случайно. За амулетом, с тайной наполеоновского клада.

© Кожедеев В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Пролог: пепел.	5
Глава 2. Дно.	7
Глава 3. Чума.	9
Глава 4. Лом.	11
Глава 5. Филёр.	14
Глава 6. Соглядатаи.	17
Глава 7. Школа выживания.	20
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Детективная история о ключе клада Наполеона

Глава 1. Пролог: пепел.

Той ночью Москву душил запах гари. Пожар на Поворовке бушевал так яростно, что багровые отсветы плясали на куполах церквей Замоскворечья, пугая запоздалых прохожих. Горел старый барский особняк с колоннами – последнее пристанище обнищавшего рода Ивановых, чья фамилия когда-то значилась, в-шестых, книгах, а теперь не значилась нигде, кроме долговых расписок.

Единственный, кто видел этот пожар не снаружи, а изнутри, был десятилетний Алёша. Он очнулся в своей комнате, которую когда-то называли детской, от жара, что плавил воздух. В ушах стоял треск горящего дерева, похожий на канонаду, а в горле – привкус пепла. Чудом – а может, и не чудом, а волей обезумевшей от горя няньки, что вытолкнула его в окно задней стены, выходящее в сад, – он выбрался.

Особняк догорал за его спиной, как гигантская свеча. Алёша стоял босиком в мокром от росы бурьяне, в одном нательном белье, провожая взглядом свою прежнюю жизнь. Спасти не удалось ничего. Только на груди, на тонком кожаном шнурке, висел тяжёлый серебряный амулет с вензелями – старинная дворянская печатка, последнее, что осталось от отца.

ИЗ "МОСКОВСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ", № 314, 15 НОЯБРЯ 1888 ГОДА

ПРОИСШЕСТВИЯ

СТРАШНЫЙ ПОЖАР НА ПОВОРОВКЕ. ГИБЕЛЬ ДВОРЯНСКОЙ СЕМЬИ

В ночь с 13 на 14 ноября в Замоскворечье произошло ужасное по силе и трагичности событие. Около полуночи на Поворовке, в тупике близ Берсеневской набережной, вспыхнул старинный барский особняк с колоннами, принадлежавший обедневшему дворянскому роду Ивановых. Огонь распространялся с невероятной быстротой, и к прибытию пожарных команд 2-го отделения пламя уже охватило всё здание, угрожая соседним деревянным постройкам.

Усадьба, выстроенная ещё в екатерининские времена, сгорела дотла. От некогда величественного дома с мезонином и флигелями остались лишь обгоревший остов колонн да груда дымящихся развалин. Пожарным удалось отстоять лишь соседние строения, но само гнездо дворянское уничтожено полностью.

О жертвах сообщается следующее: по предварительным данным, в доме находились владельцы усадьбы, вдова коллежского асессора, Елизавета Петровна Иванова, её супруг (по некоторым сведениям, находившийся в бессрочном отпуске) и прислуга – кухарка и дворник. Все они, по всей видимости, погибли в огне. Тела пока не опознаны ввиду сильного обугливания. Особую тревогу вызывает судьба их малолетнего сына Алексея, коему всего 10 лет от роду. При разборе завалов детских останков не обнаружено, что породило надежду: возможно, ребёнок спасся? Однако соседи утверждают, что никто из жильцов из огня не выходил.

Дознаватель Московской полиции господин Найдёнов, прибывший на место происшествия к утру, возбудил дело по факту пожара. Основная версия на данный момент – неисправность печного отопления. По словам околоточного надзирателя, в доме давно требовался ремонт, и печи топились неисправно. Однако среди соседей и местных обывателей ходят иные толки.

Купцы с ближайших рядов судачат, что в последнее время господа Ивановы находились в крайне стеснённых обстоятельствах. "Долгов – как у Христа за пазухой, только не за пазухой, а на шее, – сообщил нашему корреспонденту лавочник с Поворовки, Еремей Фомичёв. – Кре-

диторы заездили совсем. Иной раз и хлеба купить было не на что. А барыня всё хорохорилась, шляпки из моды не выходила. Вот и допрыгалась". Из этих слов некоторые делают вывод о возможности поджога с целью получения страховки, однако, по имеющимся сведениям, особняк застрахован не был.

Среди мещан ходит упорный слух, что незадолго до пожара у дома видели подозрительных личностей "цыганского вида", но городовые этих сведений не подтверждают.

Весь вчерашний день на Поворовке и прилегающих улицах только и разговоров что о пожаре. Зрелище было столь ужасно, что, по словам очевидцев, "зарезо стояло над Москвой-рекой кровавое, и колокола сами собой гудели". Местные старухи-богомолки уже окрестили пожар "божьей карой" за грехи. "Род-то ихний старинный, да запятнанный, – шептались они у часовни. – Прадед-то у барина при царе-батюшке в опале был, сослали его. Вот и пошло по роду: кто спился, кто с ума сошёл, кто в карты проигрался. А нынче и вовсе огнём принял кончину".

Странные вещи рассказывают и об обстоятельствах возгорания. Дворник соседнего дома, некто Спиридон, божится, что видел перед самым пожаром, как из трубы особняка вылетел огненный змей и рассыпался искрами над крышей. "Не к добру это, – качает он головой, – нечисто дело. Дом старый, грехов много накопилось". Конечно, подобные речи можно отнести на счёт суеверности простого народа, но они добавляют мрачную окраску и без того трагическому событию.

Особый интерес вызвал слух, который передают из уст в уста на Хитровке и в ночлежных домах. Будто бы накануне пожара к воротам сгоревшего особняка приходила юродивая, известная в Замоскворечье под именем Аграфена-Босоножка. Она долго глядела на дом, крестилась, наоборот, и бормотала: "Быть беде, быть беде. Золото в огне переплавится, кровь на золоте останется. Сгинет род, да не весь. Один уцелеет, да не наверху, а внизу. И будет тот ни сыт, ни голоден, ни жив, ни мёртв, а всем вора воров". Старуху прогнали дворники, а наутро – пожар.

Сейчас Аграфену ищут все кому не лень: и газетчики, и полиция, и просто любопытные. Но она как сквозь землю провалилась. Говорят, ушла в подземелье, под Москву-реку, и там её видели беспризорники. Но верить ли этим рассказам – бог весть.

В тот же день на Трубной площади городовыми задержан карманник по кличке Сучок, пытавшийся обокрасть купчиху Шапову. При обыске у него найдены краденые часы и портсигар. Отправлен в участок.

В Сокольниках неизвестными злоумышленниками разобран забор и похищены дрова. Ведётся розыск.

Наш специальный корреспондент.

Глава 2. Дно.

Москва встретила его равнодушно. Первые дни прошли в лихорадочном блуждании. Он пытался найти тех, кого знал прежде, но дальние родственники, у которых он пару раз бывал с матушкой, захлопывали двери перед замызганным оборвышем, чьи глаза горели недетским отчаянием. Скоро Алёша понял простую истину: наверху, в городе шумных экипажей и важных господ, для него больше нет места.

Мир сжался до размеров Поворовки – кривой улочки, сбегаящей к Москве-реке, где ютились мастеровые, пропойцы и самый отчаянный сброд. Голод – учитель суровый. Он прижал мальчика к земле, заставив искать объедки на задворках трактиров, где пахло кислыми щами и перегаром.

Именно там, в куче прелой картофельной шелухи, его и нашли.

– Ты чей будешь, обгорелый? – раздался звонкий, но нагловатый голос.

Алёша поднял голову. Перед ним стоял мальчишка чуть старше его, в рваном армяке нараспашку и огромных, явно с чужой ноги, опорках. Рожа у него была конопатая, но глаза – цепкие, быстрые, как у хорька. Рядом маяли еще двое: один маленький, с вечно текущим носом, другой – долговязый и сутулый.

– Ничей, – хрипло ответил Алёша, вставая. От голода у него кружилась голова.

Конопатый оглядел его с ног до головы. Взгляд его задержался на амулете, тускло блеснувшим в вырезе грязной сорочки.

– Ишь ты, цацка. Сымай, давай. По рублю дадим. Или животом подавишься, – усмехнулся он, но без особой злобы, скорее, проверяя новичка на прочность.

Алёша инстинктивно сжал амулет в кулаке. Впервые за эти дни в нем вскипела не растерянность, а злость.

– Не тронь. Это отцовское.

Конопатый удивлённо вскинул бровь. Такой ответ среди босяков был редкостью. Обычно новенькие или плакали, или сразу лезли в драку, которую тут же проигрывали. А этот стоял тихо, но в глазах горел тот самый огонь, который конопатый, по кличке Чума, видел только у битых жизнью взрослых уголовников.

– Ну, смотри, – Чума сплюнул сквозь зубы. – Жрать хошь?

Это был первый вопрос за много дней, на который Алёша мог ответить утвердительно, не боясь подвоха.

В тот же вечер Чума привел его в «низы». Оказалось, что под мостовыми шумной первопрестольной существует целый мир. Старые штольни, кирпичные своды забытых складов, естественные пещеры и прорытые ходы соединяли подвалы домов в единую сеть. Здесь было сыро, пахло мышами, сыростью и дымом дешёвой махорки, но здесь не дул холодный ветер, и здесь были свои законы.

Их логово находилось в старом дренажном туннеле под набережной. В нишах стен горели плашки с ворованным маслом, на кучах тряпья сидели и лежали десятки беспризорников разного возраста – от таких же мелких, как тот, с текущим носом, до угрюмых подростков с наколками на пальцах.

В центре, на перевернутой кадке, восседал хозяин этого мира – щербатый мужик с лицом, перекошенным шрамом, по кличке Лом. Говорили, что он был знаменитым медвежатником, но после неудачного дела ушел на дно и теперь «воспитывал смену».

– Это кто? – Лом ткнул кривым пальцем в Алёшу, даже не взглянув на него, разглядывая засаленную карту.

– Новичок, Лом Тимофеич. Погорелец с Поворовки. Из благородных, видать, – Чума подтолкнул Алёшу вперёд. – Медальон при нём серебряный.

Тут Лом поднял глаза. Взгляд у него был тяжелый, буравящий.

– Покажь.

Алёша, понимая, что спорить здесь бесполезно, вытянул амулет из-за пазухи. Лом взял его в мозолистые ладони, повертел перед огнём, разглядывая вензеля.

– Ивановы... Слышал я такую фамилию. Давно сплыла, – хмыкнул он и, к удивлению мальчика, вернул амулет обратно. – Носи. В память о родителях. Только тут, внизу, это – тьфу. Дворянство здесь не котируется. Здесь ценятся пальцы, чутьё и верность артели. Запомни.

Алёша кивнул. Лом продолжил:

– Жить будешь пока с мелюзгой. Чума, определи его в третий закуток. Кормить и учить. За науку, – он усмехнулся, – денег не берем. Сами с вас потом возьмём.

Так Алексей Иванов, потомственный дворянин, переступил порог подземной школы воровского мира Москвы. В тот вечер он впервые ел украденные с толкучки пирожки с ливером, жадно запивая их кипятком из жестяной кружки, и слушал, как Чума на пальцах объясняет ему «науку».

– Смотри, обгорелый. Воровать – не мешки ворочать. Тут семь заповедей. Первая: не шуми там, где спишь. Вторая: на чужой кусок рот не разевай без спросу. Третья: мусорам – ни-ни...

Слова падали в сырой воздух катакомб. Где-то наверху, под толщей земли и булыжной мостовой, гуляла ветреная, равнодушная Москва. А здесь, внизу, рождалась новая жизнь и новая судьба мальчика, у которого не осталось ничего, кроме амулета с вензелями и голодного блеска в глазах.

Глава 3. Чума.

До того, как стать Чумой, у него было имя. Мать звала его Митяем. Отца, вечно пьяного и битого жизнью мастерового с Тверской-Ямской, он помнил плохо – только тяжёлые кулаки и запах перегара, когда тот возвращался с работы в ночное. А потом отец не вернулся вовсе – замерз где-то под забором, не дойдя до дома двух кварталов.

Мать надорвалась на стирке белья для господ. Чахотка съела её быстро, за одну зиму. Митяю тогда сравнялось семь. Он сидел на лавке рядом с её остывающим телом в холодной каморке и смотрел, как замерзает вода в рукомойнике. Соседи стащили всё, что плохо лежало, пока он таскал из церкви святую воду, чтобы мать отпели по-человечески. Её закопали на Хитровке, в безымянной могиле для нищих, и Митяй остался один.

Первое время он пытался выжить честно. Нанялся в трактир «Разгуляй» мыть посуду. Хозяин, толстый купчина с сальными глазами, кормил объедками, но платить забывал. А когда Митяй осмелился напомнить о деньгах, схватил за ухо и вышвырнул в сугроб, крикнув вдогонку:

– Тварь ты подзаборная! Дорогу сюда забудь, щенок!

Митяй не забыл. Через неделю он пробрался в трактир через чёрный ход, когда хозяин храпел в подсобке после обеда, и унес из его конторки три рубля и новую шапку. Сердце колотилось так, что грозило выскочить из груди, но руки не дрожали. Он впервые понял: мир не даст тебе кусок хлеба просто так. Его надо брать.

Так он попал в Хитровку – самое дно Москвы, где воняло гнилой капустой, дешевым самогоном и человеческим отчаянием. Там он прибил к шайке беспризорников, промышлявших мелким воровством на рынках. Научился таскать кошельки, срезать с лотков колбасу, врать, кланяться и мгновенно бежать. Там же его впервые поймали.

Был полдень, солнечный, обманчиво тёплый. Митяй стащил у сонной торговки связку баранок и уже собирался нырнуть в толпу, когда чья-то тяжёлая рука сгребла его за шиворот. Это был городской, красномордый, с усами, как у таракана.

– Ах ты паскудник! – рявкнул он, встряхнув мальчишку так, что у того клацнули зубы. – В участок пойдёшь, а оттуда напрямик в приют! Будешь там корки глотать до совершеннолетия!

В участке его выпороли – для острастки, как велел околоточный. Митяй не плакал, только кусал губы до крови, сжимаясь под ударами. Он знал: слёзы здесь – роскошь, которую он не может себе позволить. В приют его не отправили – торговка пожалела и не стала писать заявление, но мордастый городской запомнил его на всю Хитровку. Теперь Митяю нельзя было показываться на той стороне.

Зима того года выдалась лютая. Воры постарше отобрали у него угол в ночлежке, и Митяй остался на улице. Три дня он прятался в пустой бочке из-под кваса, согреваясь дыханием и вспоминая материнские руки – тёплые, шершавые от стирки, пахнущие золой. На третий день он понял, что если не найдёт место, где можно жить постоянно, то замёрзнет насмерть, как отец.

Он брёл по Москве, плохо соображая от голода и холода, и вышел к Москве-реке. Лёд уже встал, снег искрился под тусклым солнцем. Митяй забрёл на набережную, где ютились грузчики и босяки, и вдруг провалился.

Нет, не в воду. Нога его угодила в пустоту, в провал между досками, прикрытыми снегом. Он упал, больно ударившись спиной, и покатился куда-то вниз, в темноту. Когда падение прекратилось, он долго лежал, боясь пошевелиться. Потом открыл глаза.

Над ним были кирпичные своды. Где-то капала вода. Пахло сыростью, плесенью и.. дымом. Живым, человеческим дымом.

Митяй поднялся, ощупывая стены. Пальцы нащупали шершавый кирпич, а потом – пустоту. Он пошёл на запах дыма, спотыкаясь о камни, и вдруг увидел свет. Тусклый, дрожащий, но такой родной.

Так он вышел к обитателям подземной Москвы.

Их было четверо. Сидели у костерка, разведённого прямо на земляном полу, грели руки над жестяной банкой с кипятком. При виде замерзшего, перепачканного снегом мальчишки никто не удивился.

– Ещё один, – лениво сказал старший, щербатый мужик со шрамом через всё лицо. Будущий Лом. – Откуда, мелочь?

– Сверху, – простуженно ответил Митяй. – Жить негде. Замерзаю.

– А что дать можешь?

Митяй лихорадочно ощупал себя. У него ничего не было. Ни денег, ни еды, ни даже нормальной одежды – в рваном зипунишке да дырявые валенки на босу ногу. И тут он вспомнил.

Он развязал тесемку на шее и вытащил медный крестик на гайтане – единственное, что осталось от матери. Простой, дешёвый, но тёплый от его тела.

– Вот, – протянул он, разжимая кулак.

Лом взял крестик, повертел в пальцах, усмехнулся.

– Богу, значит, молишься? Ну молись, чтобы выжить. Это здесь главная молитва. – И кивнул пареньку рядом: – Прими новенького. Пусть греется.

Митяй сел к огню, протянул ооченевшие руки к банке. Кто-то сунул ему кусок хлеба, чёрствого, с соломой, но такого вкусного, что у мальчишки защипало в носу от подступивших слёз. Он сдержался, не заплакал. Слёзы здесь были лишними.

– Как звать-то? – спросил конопатый паренёк постарше, тот самый, что сидел рядом. Тогда его звали просто Копа, но со временем это имя забылось.

– Митяй.

– А по-уличному?

Митяй пожал плечами. Уличного у него не было.

Конопатый оглядел его цепким взглядом. Худой, злой, голодный, но не сломленный. Глаза горят, как у волчонка. И в этих глазах – та самая напасть, от которой людидохнут, если вовремя не прибьются к стае. Чума, а не ребёнок.

– Будешь Чумой, – решил конопатый. И засмеялся.

Так Митяй стал Чумой. И остался внизу, под Москвой, где не было морозных улиц и злых городских, где свои законы и своя правда. Где через несколько лет он встретит обгорелого мальчишку с дворянским амулетом на шее и скажет ему те же слова, что когда-то сказали ему самому:

– Жрать хошь?

Глава 4. Лом.

До того, как стать Ломом, он был Григорием Захаровичем Кругловым, потомственным мещанином и одним из самых дерзких медвежатников Москвы. В те годы, когда он ещё ходил по верху и дышал свежим воздухом, его звали Гришка-Золотой Зуб – за коронку из червонного золота, которая сверкала в улыбке, когда он вскрывал очередной несгораемый ящик.

Гришка родился в Зарядье, в семье иконописца, который спился и умер, когда мальчишке исполнилось шесть. Мать, измождённая баба с вечно красными руками, таскала воду в трактиры, пока не слегла с горячкой. Гришка остался на улице в десять лет – возраст для Зарядья уже взрослый, возраст, когда либо ты становишься чьей-то добычей, либо начинаешь охотиться сам.

Он выбрал второе.

Первые годы он крутился возле пристаней, таскал тюки с барж, лудил медяки у зазевавшихся купцов. Но душа его лежала к другому. Ещё мальчишкой он завороженно смотрел, как слесарь в подвале их дома возится с замками: щелчок – и механизм поддаётся, открывая тайну. Гришка запоминал каждое движение, каждый поворот ключа. К двенадцати годам он мог открыть любой амбарный замок ржавым гвоздём.

К двадцати пяти он собрал собственную артель. Работали чисто, без шума и крови. Гришка не любил мокрых дел – считал, что лишняя кровь притягивает лишнее внимание. Он брал только сейфы, только в богатых домах, только когда хозяева уезжали на балы или в имения. Про него говорили: «Золотой Зуб ножичком работает, как хирург. Вскроет – и не заметишь».

Жил он на широкую ногу. Снимал комнаты в приличном районе, одевался у портного, даже завёл роман с мещанской вдовушкой, которая думала, что он коммерсант средней руки. По вечерам Гришка сидел в трактире «Крым» на Неглинной, пил чай с лимоном и обсуждал с такими же чисто одетыми господами биржевые новости. Никто из сидевших рядом не знал, что эти господа – лучшие взломщики Москвы, а биржевые новости – шифровки о будущих налётах.

Конец пришёл внезапно.

Осенью 1888 года артель Гришки взяла заказ на сейф купца Елисеева – того самого, с гастрономом на Тверской. Заказчик, тощий господин в пенсне, пообещал золотые горы и даже показал чертежи расположения комнат. Гришка что-то заподозрил – слишком гладко всё шло, слишком легко достались чертежи. Но жадность пересилила.

В ту ночь они зашли в особняк ровно в два часа, когда город засыпал. Гришка возился с замком сейфа всего пятнадцать минут – редкая по тем временам немецкая работа, но для него – плёвое дело. Механизм щёлкнул, тяжёлая дверца отворилась, и в лицо пахнуло банковской бумагой и золотом.

А потом зажегся свет.

Особняк был полон полиции. Их брали тёпленькими, прямо у сейфа. Гришка успел заметить в толпе тощего господина в пенсне, который улыбался и показывал на него пальцем начальнику сыскальной полиции.

Подстава. Чистая, красивая подстава.

Гришка рванул в окно – единственный путь, который не был перекрыт. Стекло брызнуло осколками, он пролетел сквозь кусты и побежал через сад, слыша за спиной топот сапог и матерные крики. Пуля догнала его у забора. Ударил в лицо, раздробила скулу, выбила тот самый золотой зуб.

Он упал, но поднялся. Дополз до забора, перевалился через него и побежал дальше, зажимая рукой развороченную щеку. Кровь заливала грудь, капала на булыжники, оставляла за ним чёрный след.

Три дня он прятался в подвалах на Хитровке, зализывая рану. Знакомые воры приносили воду, тряпки, мази. Лицо зашивали на живую нитку – без доктора, без обезболивающего, под самогон и матерщину. Шрам остался на всю жизнь, перекошил рот, сделал Гришку страшным, как чёрт.

Золотой Зуб умер в том подвале. Родился Лом.

Когда он вышел из подполья через месяц, Москва была уже другой. Артель его переловили, кто-то сел, кто-то пошёл по этапу. Тощий господин в пенсне, как выяснилось, был перелодетым филёром, и теперь Гришку – нет, уже Лома – искали по всей Москве с особым тщанием. Выхода наверх для него больше не было.

И тогда он ушёл вниз.

Катакомбы под Москвой он знал с детства. Когда-то, беспризорником, он прятался в старых штольнях под Зарядьем. Теперь они стали его единственным домом. Он уходил всё глубже, исследуя забытые ходы, соединяя подвалы домов в единую сеть. Там, внизу, под толщей земли и людского равнодушия, он начал собирать свой новый мир.

Первыми прибились такие же битые жизнью уголовники – те, кому нельзя было наверх, кто прятался от «мусоров» и кровников. Потом потянулись беспризорники – дети, которым некуда было идти, которых никто не ждал наверху. Лом не гнал никого. Он давал кров, еду и защиту. Взамен требовал одного: подчинения законам, которые сам и установил.

Законы были просты: не воровать у своих, не выдавать чужим, слушаться старших. За нарушение – смерть. Лом сам вершил суд, собственноручно сворачивал шеи предателям и закапывал их где-то в дальних туннелях, о которых знал только он.

Годы шли. Подземный мир разрастался. Появились целые кварталы – с ночлежками, тайниками, складами краденого. Лом знал каждый ход, каждую щель под Москвой. Через его людей шла связь между ворами, сбытчиками и даже некоторыми купцами, которые не брезговали тёмным товаром.

Он не пил, не курил, не брал в рот скверного слова. Только сидел в своём логове на старой кадке, разглядывал засаленные карты и учил мальчишек уму-разуму. Говорил мало, но каждое слово его весило пуд.

– Вор – не тот, кто украл, – учил он молодых. – Вор – тот, кто сможет украсть и не попасться. А если попался – умей молчать. Молчание – золото, братва. Золото, которое у тебя никто не отнимет.

О прошлом своём не рассказывал никогда. Только когда совсем уж настырные спрашивали про шрам, криво усмехался и отвечал:

– Любовь у меня была. Злая баба. Поцеловала на прощание.

И никто не знал, что в тайнике, глубоко под землёй, в ржавой жестянке из-под чая, хранится у него та самая коронка – золотой зуб, выбитый полицейской пулей. Единственное напоминание о том, кем он был когда-то. Гришкой-Золотой Зуб, королём медвежатников, который мог открыть любой замок в Москве.

Лом верил, что его время прошло. Что он доживает свой век в сырости и темноте, испытывая смену. Но иногда, глядя на новеньких мальчишек, что спускались в его владения с верхнего мира – обожжённых, битых, потерянных, – он чувствовал странное тепло в груди. Может, думал он, глядя, как конопатый Чума учит тощего дворянчика уму-разуму, может, из этих щенков и вырастет что-то путное. Может, они продолжат его дело. Может, имя Лома ещё прогремит по Москве – но уже из их уст.

Он сидел на своей кадке, перебирал старые карты и ждал. Внизу было тихо, только капала вода где-то в глубине туннелей. Москва спала наверху, не ведая, что под её ногами живёт своя, особая жизнь – жизнь, которую создал он, Лом, из обломков собственной судьбы.

Глава 5. Филёр.

В сыскальной полиции его звали Иваном Ильичом Птицыным, и он был лучшим. Не тем лучшим, о ком пишут в газетах и кого носят на руках начальники, – а тем, кого не замечают вовсе. Среднего роста, неприметной наружности, с лицом, которое забывалось через секунду после того, как на него взглянули. Такой человек мог стоять у вас за спиной полдня, и вы бы ни разу не обернулись.

Птицын происходил из обедневших дворян, каких много болталось по Москве без дела и без средств. Отец его проиграл в карты последнее имение под Тулой и пустил себе пулю в лоб, оставив семнадцатилетнего сына с матерью-истеричкой и долгами, которые съели даже столовое серебро. Иван Ильич пошёл по полицейской части не от любви к порядку, а от холодного расчёта: работа давала жалование, форму и, главное, возможность смотреть на людей сверху вниз, даже будучи самому на дне.

В сыском он пришёлся ко двору. Наружность имел самую заурядную, память – фотографическую, а терпение – лошадиное. Мог сутками сидеть в трактире, попивая чай и читая газету, пока объект наблюдения не ошибался. Мог переодеться кем угодно – купцом, мастеровым, приказчиком, даже бабой-торговкой, – и войти в доверие к кому угодно. Говорил мало, слушал много, запоминал всё.

К тридцати пяти годам Птицын знал о преступном мире Москвы больше, чем любой уголовник. Он вёл учёт всех более-менее крупных воров, содержал сеть осведомителей, и сам начальник сыскальной полиции обращался к нему на «вы». Но Птицын не стремился к чинам и наградам. Он жил тихо, снимал скромную квартиру на Пресне, по вечерам читал французские романы и ни с кем не водил дружбы. Говорили, что у него есть женщина где-то на окраине, но точно никто не знал.

Осенью 1888 года в сыское пришёл заказчик – купец первой гильдии Елисеев, тот самый, чей гастроном гремел на всю Тверскую. У Елисеева в последнее время участились кражи. Воровали не в лавке, а в особняке – по мелочи, но нагло: то запонка пропадёт, то деньги из кабинета, то шкатулка с безделушками. Елисеев подозревал прислугу, но доказательств не было. Он требовал одного: найти и наказать.

Птицына вызвали к начальнику.

– Иван Ильич, дело деликатное, – сказал начальник, поглаживая бакенбарды. – Елисеев – человек влиятельный. Если мы не поможем, он пойдёт к частным сыщикам, а нам потом морду будут воротить на всех приёмах. Надо отработать.

Птицын кивнул и взял дело.

Три недели он наблюдал за особняком на Тверской. Сидел в трактире напротив, читал газету, пил чай. Потом переоделся водовозом и целую неделю таскал воду в кухню, слушая разговоры прислуги. Потом нанялся дворником в соседний дом и по ночам следил за чёрным ходом.

К концу месяца он знал всё.

Кражи совершал не кто-то из прислуги. Кражи совершал сам Елисеев.

Точнее, не кражи, а инсценировки. Купец был должен крупную сумму ростовщикам и не хотел платить. Он создавал видимость, что его обворовывают, чтобы списать долги и потянуть время. Птицын видел своими глазами, как Елисеев ночью, когда все спали, собственноручно перепрятывал золотые часы из кабинета в тайник под лестницей, а утром поднимал крик, что опять обокрали.

Птицын мог бы доложить начальству, и Елисеева бы прижали. Но он промолчал. Вместо этого он начал свою игру.

Он знал, что в Москве есть человек, который ему нужен. Гришка-Золотой Зуб, король медвежатников. Лучший взломщик, работающий чисто, без крови, без лишнего шума. Птицын давно охотился за ним, но Гришка был осторожен, не оставлял следов, и взять его с поличным не удавалось. А без поличного – только пустые хлопоты.

И тут Птицыну пришла в голову мысль. Простая, как всё гениальное.

Он переоделся.

Не просто переоделся – он создал образ. Тощий господин в пенсне, с нервными пальцами, в дорогом, но слегка поношенном сюртуке. Образ неудачливого коммерсанта, который влез в долги и готов на всё, чтобы рассчитаться. Образ человека, который продаст родную мать за возможность нанять лучшего взломщика.

Птицын вышел на Гришку через цепочку посредников. Сначала поговорил с одним мелким скупщиком на Хитровке, тот свёл его с другим, тот – с третьим. Каждому он ныл про долги, про кредиторов, про то, что, если не достанет денег – пропал. Имя Елисеева не называл, говорил только: «У одного купца есть сейф. Я знаю, где стоит, знаю, как зайти. Мне нужен человек, который его вскроет».

Через две недели его привели в трактир «Крым» на Неглинной.

Гришка сидел в углу, пил чай с лимоном и читал «Московские ведомости». Одет был прилично, лицо спокойное, только глаза бегали, цеплялись за каждого входящего. Птицын подошёл, представился вымышленным именем, сел напротив.

– Слышал, вы можете помочь с одним делом, – тихо сказал Птицын, нервно теребя пенсне. – Дело деликатное. Плачу хорошо.

Гришка отложил газету, посмотрел на него долгим, тяжёлым взглядом. Птицын выдержал. Он знал, что его лицо – пустое место, что на нём ничего не написано. Гришка видел только тощего коммерсанта с затравленным взглядом.

– Какое дело? – спросил Гришка.

– Сейф. У Елисеева. Знаете такого?

Гришка усмехнулся. Конечно, он знал Елисеева. Кто в Москве не знал Елисеева?

– Дорого, – сказал Гришка.

– Сколько скажете.

Птицын открыл саквояж, выложил на стол пачку ассигнаций – задаток, взятый из оперативных средств. Гришка глянул, прикинул, кивнул.

– Чертежи есть?

– Будут.

В следующие две недели Птицын кормил Гришку информацией. Приносил чертежи особняка – настоящие, которые раздобыл у архитектора, оформлявшего перестройку. Рассказывал про распорядок дня прислуги, про смену караулов у парадного, про то, когда хозяева уезжают в театр. Гришка проверял, перепроверял, сам ходил посмотреть на особняк. Всё сходилось. Никакого подвоха.

Настоящий подвох был в другом.

Каждую встречу Птицын записывал. Не в блокнот – он не был дураком, Гришка мог заметить. Он запоминал. Каждое слово, каждый жест, каждую деталь. И передавал начальнику сыскальной полиции.

В ночь налёта Птицын был в особняке за час до Гришки. Сидел в карете напротив, переодетый извозчиком, и ждал. Как только Гришка с артелью скользнули в чёрный ход, Птицын дал знак.

Они не спешили. Дали Гришке пятнадцать минут – ровно столько, чтобы он вскрыл сейф и почувствовал себя победителем. А потом включили свет.

Птицын стоял в толпе полицейских, когда Гришку брали. Стоял и улыбался – той самой тощей физиономией в пенсне, которую Гришка запомнил на всю жизнь. Он смотрел, как

Гришка выбивает стекло и прыгает в сад. Смотрел, как бежит к забору. Смотрел, как падает от пули.

И только когда Гришка перевалился через забор и исчез в темноте, Птицын понял: упустил.

Он приказал обыскать все окрестности, поднял на ноги всех городских, прочесал Хитровку вдоль и поперёк. Гришка как сквозь землю провалился. Ни следа, ни крови, ни единой зацепки.

Начальник сыскной рвал и метал. Елисеев был доволен – воров поймали, хоть и не тех, кого он подозревал. Но главная цель, Гришка-Золотой Зуб, ушёл. Птицын доложил, что взломщик, скорее всего, мёртв – такая рана не оставляет шансов. Начальник отстал.

Но Птицын знал правду. Гришка жив. Где-то в Москве, под землёй, в этих чёртовых катакомбах, о которых ходили слухи, но куда никто из полиции не совался. Птицын пытался найти вход, но без толку. Местные молчали как рыбы, а соваться в подземелья без проводника было самоубийством.

Прошли годы. Птицын получил повышение, потом ещё одно. Елисеевская история забылась, списали на удачную операцию. Но по ночам Птицыну иногда снился тот взгляд – взгляд Гришки, обернувшегося перед прыжком в окно. Взгляд, в котором не было страха. Только ненависть. Чистая, холодная, как лёд.

Птицын знал: где-то там, внизу, живёт человек, который его не забыл. И который, если выберется наверх, будет искать. Иван Ильич не боялся – страх был чувством, которое он давно в себе вытравил. Но он ждал. На всякий случай.

Ждал, сам не зная чего.

А Гришка тем временем становился Ломом, строил под Москвой своё царство и точил зуб на тощего господина в пенсне. Ждал своего часа. Потому что в воровском мире, как и в полицейском, главное – терпение.

И у Лома его было много.

Глава 6. Соглядатаи.

В сыскной полиции Москвы знали: поймать вора – половина дела. Удержать его, заставить служить, вывести через него всё подноготную – вот истинное мастерство. Иван Ильич Птицын, тот самый филёр, что подставил Гришку-Золотой Зуб, давно это понял. Но даже он не знал всей правды о том, кто на самом деле держал нити между верхом и низом.

А нити эти держал человек, которого в полиции звали просто "Сват".

Настоящее его имя было Егор Матвеевич Сватов, и числился он мелким канцелярским служащим при сыском отделении. В обязанности его входило переписывать бумаги, подшивать дела и подавать чай начальству. Никто не обращал на него внимания – тихий, лысеющий человек с вечно испачканными чернилами пальцами, в застиранном вицмундире. Он приходил ровно в восемь, уходил ровно в шесть, никогда не опаздывал, никогда не просил прибавки, никогда не лез в разговоры.

Никто не знал, что по ночам Сват спускается в катакомбы.

Сват был дальним родственником Лома – троюродным братом, если верить старым семейным преданиям. Когда-то в молодости они вместе начинали в Зарядье, вместе воровали дрова с барж, вместе ночевали в подвалах. Потом Гришка пошёл в медвежатники, а Егор выбрал другую стезю: устроился в полицию, чтобы "быть при деле, но не при опасности". Двадцать лет он просидел в канцелярии, двадцать лет собирал справки, слушал разговоры, запоминал имена. И всё это время оставался человеком Лома.

Когда Гришка ушёл в подземелье после той самой пули, Сват был единственным, кто знал, где он прячется. Он носил ему бинты, лекарства, еду. Он же первым предложил: "Гриша, наверху тебя не простят. Внизу ты сможешь править. Но чтобы править, надо знать, что делается наверху. Я буду твоими глазами".

Так родилась система.

Каждую среду, ровно в полночь, Сват спускался в катакомбы через заброшенный колодец в одном из дворов Зарядья. Он приносил газеты, полицейские сводки, списки арестованных, имена осведомителей. А уносил наверх информацию о том, что происходит в преступном мире: кто задумал крупное дело, кто перешёл дорогу кому, кого можно брать, а кого лучше не трогать.

Эта информация была нужна не только Лому.

Полковник Модест Иванович Бурмистров возглавлял сыскную полицию Москвы пятнадцатый год. Был он грузен, сед, имел тяжёлый взгляд исподлобья и репутацию человека, который ни перед чем не остановится ради порядка в городе. Газеты его хвалили, купцы уважали, воры боялись. Но была у полковника одна слабость: он любил своих людей. Не абстрактно, а по-настоящему.

Когда в каталажку попадали его агенты – не те, что в мундирах, а те, что в лохмотьях, работающие под прикрытием, – Бурмистров рвал и метал. Он выбивал им послабления, тайком передавал передачи, а если надо – и вовсе вытаскивал, используя все связи. Но связи не безграничны, а начальство сверху требовало отчётов и не любило, когда "политических" или опасных уголовников выпускали раньше срока.

Осенью 1889 года в Бутырку попал Семка-Рыжий, один из лучших осведомителей Бурмистрова. Взяли его с поличным за кражу, и хотя Семка молчал и не называл себя полицейским агентом, срок ему светил немалый. Бурмистров метался, писал прошения, но всё было тщетно: слишком громкое дело, слишком много свидетелей, судья неподкупен.

И тогда Сват сделал первый ход.

Однажды вечером, когда Бурмистров засиделся в кабинете, Сват зашёл с папкой бумаг на подпись. Обычное дело. Но, положив папку на стол, он задержался на секунду и тихо сказал:

– Модест Иванович, простите за дерзость. Слышал я про Сёмкину беду. Может, выход есть?

Бурмистров поднял глаза. Перед ним стоял мелкий канцелярист, незаметный, как тень. С каких пор он лезет в чужие дела?

– Ты что несёшь, Сватов? – рявкнул полковник. – Какое твоё дело?

– Никакого, Модест Иванович. Но есть люди, которые могут помочь. Если вы закроете глаза на одно дельце, они устроят так, что Семка выйдет по амнистии. Чисто, законно, без шума.

Бурмистров долго смотрел на него. Потом спросил:

– Какие люди?

– Те, кто внизу живут. Под Москвой.

Так состоялась первая сделка.

Переговоры велись через Свата, конечно. Лом не поднялся наверх, Бурмистров не спустился вниз. Встреча произошла на нейтральной территории – в старом трактире "Разгуляй", что стоял как раз над одним из ходов в катакомбы. Хозяин трактира, глухонемой от рождения старик, был человеком Лома и не слышал даже того, что мог бы услышать.

Бурмистров пришёл в штатском, с одним только адъютантом, которого оставил у входа. Сват привёл двоих: Лома не было, но были его доверенные – Косой и Хомяк, старые уголовники, знавшие Гришку ещё по тем временам.

– Чего хотите? – спросил Бурмистров без предисловий, наливая себе чаю.

Косой, щербатый детина с перебитым носом, усмехнулся:

– Мы, ваше благородие, хотим порядка. Чтобы наших не трогали без дела, а если и трогали – по-людски. А взамен...

– Взамен что?

– Взамен будем знать, кто в городе серьёзные дела замышляет. Кто на мокрое идёт, кто фальшивые ассигнации гонит, кто барские дома палит. Всё, что вам надо. Мы сверху не лезем, вы снизу не лезете. А в нужный момент – подскажем.

Бурмистров долго молчал. Предложение было крамольным. По сути, ему предлагали негласное перемирие с преступным миром – то, за что сняли бы с должности и отдали под суд, если бы узнали. Но, с другой стороны, сколько раз он ловил мелких воришек, когда настоящие злодеи уходили? Сколько раз не хватало информации, чтобы предотвратить убийство или крупную кражу?

– Ваши люди будут молчать? – спросил он наконец.

– Как могила, – ответил Косой. – У нас за язык знаешь, что делают?

– Знаю. – Бурмистров усмехнулся. – Ладно. Семку вытащу через две недели. Будет амнистия по случаю тезоименитства государя. Попадает под неё. А вы ждите. Скоро нужда будет.

Нужда пришла через месяц.

В Москве объявилась шайка фальшивомонетчиков, работавших так чисто, что даже банкиры не сразу замечали подделку. Бурмистров сбился с ног, но зацепок не было. Тогда он вспомнил о договоре.

Сват ушёл вниз и вернулся через два дня с именем: Калмык. Фальшивомонетчик, осевший в подполье, но работавший наверх через подставных людей. Лом дал адрес мастерской – подвал на Пятницкой, за лавкой купца Серебрякова.

Налёт провели в ту же ночь. Калмыка взяли с поличным, станок конфисковали, дело закрыли. Бурмистров получил благодарность от губернатора. А Лом получил троих своих, которых выпустили из каталажки "за недоказанностью".

Система заработала.

С годами она наладилась до совершенства. Сват оставался связным, но появились и другие – незаметные люди при полицейских участках, мелкие чиновники, даже один квартальный надзиратель, которому Лом помог вытащить сына из тюрьмы. Все они передавали информацию наверх и вниз, не зная порой, кто истинный получатель.

Когда Лому нужно было выручить своих, он давал Бурмистрову что-то ценное: имена грабителей, готовящих налёт на банк; сведения о контрабанде на таможне; предупреждение о готовящемся побеге из Бутырки. Бурмистров, в свою очередь, закрывал глаза на мелкие кражи в определённых районах, "терял" дела против подземных обитателей, а иногда и просто приказывал отпустить задержанных беспризорников, если те оказывались из "логовских".

Никто из посторонних не знал об этой связи. Для полиции Лом был неуловим, для воров – недосыгаем. А двое врагов, сидевших по разные стороны баррикад, исправно обменивались любезностями через подставных лиц, поддерживая хрупкое равновесие московского дна.

Однажды Косой спросил у Лома:

– Григорий Захарович, а не боитесь? Полковник этот... он же мусор. Сегодня договор, завтра – облава.

Лом сидел на своей кадке, перебирал карты. Шрам на лице побелел от напряжения.

– Не боитесь? – повторил Косой.

Лом поднял глаза.

– А чего бояться? – спросил он тихо. – Мы друг другу нужны. Ему – порядок и чины. Мне – спокойствие и свои люди. Вор и полицейский – как две руки на одном теле. Левая не знает, что правая крадёт, но обе вместе ношу тащат. Понял?

Косой не понял, но кивнул.

А Лом снова уткнулся в карты. Где-то там, наверху, сидел в своём кабинете полковник Бурмистров и думал о том же. О том, что иногда, чтобы держать город в узде, нужно договариваться даже с теми, кого поклялся ловить.

Москва спала. Подземелье молчало. А где-то посередине, в тёмном переходе между верхом и низом, Сват нёс очередную записку, скрепляющую этот странный, невозможный союз.

Глава 7. Школа выживания.

Вход в неё не охраняли вывески и не скрипели школьные доски. Школа Лома располагалась глубоко под землёй, в лабиринте старых дренажных туннелей под Берсеновской набережной, и попасть туда могли только свои. Для Алексея, которого здесь уже звали просто Обгорелый, этот путь начался с того самого дня, когда Чума привёл его в катакомбы.

Школа представляла собой сеть помещений, вырубленных в известняке ещё в допетровские времена, а позже расширенных и приспособленных под нужды воровского сообщества. Центральным местом была так называемая "Зал" – бывший подвал купеческого склада, который Лом переоборудовал под общую залу. Здесь стояли длинные лавки, сколоченные из ящиков, в углу тлел очаг, сложенный из кирпича, а стены были увешаны старыми половиками, чтобы глушить звуки. Сюда сбегались все обитатели подземелья по вечерам, чтобы есть баланду, слушать рассказы бывалых и получать наставления.

От Зала в разные стороны расходились туннели. В одном жили "старики" – опытные воры, уголовники со стажем, у каждого своя ниша, занавешенная рогожей. В другом – мальчишки, новобранцы и те, кто ещё не заслужил отдельного угла. Третий туннель вёл к складам: там хранилось краденое, инструменты, запасы еды и свечей. Четвёртый был тайным – о нём знали только самые доверенные; говорили, что по нему можно выйти прямо к Кремлю, но Лом никого туда не пускал.

Воздух в катакомбах был тяжёлый, сырой, с примесью дыма и запаха прелой соломы. Вода капала со сводов, собиралась в лужах, и мальчишки должны были постоянно отчерпывать её, чтобы затопления не случилось. Свет давали плошки с конопляным маслом – его воровали в лавках специально для этого, – а в дальних ходах жгли лучину.

Лом был царём и богом в этом подземном мире. Его слово – закон, его решение – окончательное. Он сидел в Зале на перевёрнутой кадке, покрытой медвежьей шкурой (добыча давних лет), и вершил суд. Подле него всегда находились двое – Косой и Хомяк, его заместители, суровые мужики лет сорока, битые жизнью и знающие всё о преступном ремесле.

Дальше шли "десятники" – старшие из мальчишек, кому уже исполнилось лет по четырнадцать-пятнадцать. Они командовали мелюзгой, следили за порядком, распределяли еду. Чума был как раз таким – хотя ему самому было всего двенадцать, он успел проявить себя и получить доверие Лома.

Низший слой – "шелупонь", мелюзга, новички. Им доставалась самая грязная работа: чистить отхожие места, таскать воду, воровать по мелочи на рынках, быть на подхвате у старших. Но каждый из них знал: если проявишь смекалку, если не струсил, если покажешь себя – поднимешься. Лом не держал дармоедов.

Правил было семь, и их вбивали в голову с первого дня:

Не шуми там, где спишь. Это значило: не воруй рядом с убежищем, не приводи хвост, не свети подземелье. Любая глупость, которая наведёт полицию или чужих, каралась жестоко.

Не тронь своего. Кража у своих каралась смертью. Лом говорил: "У нас и так шаром покати, а если друг у друга начнём тырить – сожрём друг друга".

Не ссыкуй. За трусость били смертным боем. Вор не имеет права бояться.

Мусорам – ни-ни. Стукачество – самый страшный грех. Стукача закапывали заживо в дальних туннелях.

Старшего слушай. Ослушание – розги. Тяжёлое ослушание – смерть.

Не пей и не кури до срока. Малолеткам запрещалось пить водку и курить табак – мозги портит и внимание привлекает. Нарушителей пороли.

Умей молчать. Ничего не рассказывай чужим, ничего не болтай лишнего даже своим. Язык – враг.

Каждый день, кроме воскресенья, в школе шли занятия. Лом сам вёл главные уроки, приглашая бывалых мастеров для особых наук. Вот как выглядело расписание:

Утро. Подъём затемно, хотя в катакомбах темно всегда. Умывались ледяной водой из бочек, молились (Лом заставлял креститься перед едой, хотя сам в Бога не верил, но говорил: "Наверху без этого никак"). Завтрак – баланда из ворованной крупы и хлеба, по куску на брата.

Первый урок – "Щипцы". Так называлось карманное воровство. Старый карманник дядя Гнус, скрюченный ревматизмом, показывал мальчишкам, как вытащить кошелек из кармана, не задев руку. Тренировались на чучелах, набитых тряпками, с бубенчиками. Бубенчик звякнет – не сдал экзамен. Тонкая работа: пальцы должны быть нежными, как у пианиста, и быстрыми, как у змеи. Чума был лучшим в "щипцах".

Второй урок – "Медвежатники". Лом сам вёл его редко, но иногда показывал. Учили взламывать замки. В школе хранилась коллекция замков всех видов – от простых амбарных до хитрых английских, с секретом. Мальчишки часами ковырялись в них отмычками из гвоздей, учились чувствовать механизм. Лом говорил: "Замок, он как баба: с добрым словом открывается, а с силой – ломается. Ласку любит".

Обед. Суп с кониной, если повезло, или похлёбка из требухи. Ели из общих мисок, по старшинству. Опоздал к раздаче – остался голодным.

Третий урок – "Блатная феня". Это был язык воров, без которого в их мире не выжить. Учили словам: "лёгкий" – карман, "мокрое" – убийство, "ксива" – документ, "малина" – при-тон, "шмон" – обыск. Старшие заставляли разговаривать только на фене, новичков били за "человеческую" речь.

Четвёртый урок – "Слежка и уход". Как заметить, что за тобой следят. Как уйти от "хвоста". Как замечать следы, путать дорогу, пользоваться проходными дворами. Эти уроки вёл Косой – он сам был когда-то лихим бегуном.

Вечер. После ужина – общий сбор в Зале. Лом рассказывал истории из своей жизни, поучал уму-разуму, разбирал прошедший день. Кто провинился – тут же получал наказание. Кто отличился – похвалу и лишний кусок.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.